

Ирина Савкина

Я, ТЫ, МЫ: о некоторых формах адресованности в дневниках обычных советских людей

You, Me and I: Addressivity in the Diaries of Ordinary Soviet Citizens

The article discusses the problem of addressivity (Bakhtin's *adresovannost'*) in the diaries of Soviet citizens, based on an understanding of the diary as an uncertain genre balanced between privacy and publicity. On the one hand, diarists can address a You who is, paradoxically, both absent and present: a virtual addressee whose presence reveals the need for dialogue. On the other hand, the addressee can take the form of a We who is particularly meaningful for the diarist. The word We here refers to a community that the diarist considers significant, which can be termed recognition groups. The diarist enters into an internal dialogue with these recognition groups, imitating their discourse. The variety of such forms of addressivity is demonstrated through the analysis of three diaries of young people in the Soviet period: Nikolai Belousov (1913-2002, diary written in 1937-1939), Nina Lugovskaia (1918-1993, diary written in 1932-1939) and Maria Germanova (1922-1997, diary written in 1941-1942).

1. Адресованность как свойство дневникового нарратива

Не будет сильным преувеличением сказать, что мы живем в эпоху всеобщей дневниковизации. Интернет переполнен различного рода вербальными и визуальными рассказами о том, как день за днем проживается жизнь. Актуализация жанра дневника в последние десятилетия (Cardell 2014), разнообразие дневниковых практик и форм заставляет

думать о потенциале жанра и его свойствах.

Ключевыми особенностями дневникового текста обычно считаются спонтанность, естественность и приватность. Но уже в 80-е годы прошлого века Лоуренс Розенвальд выступал против “мифа о приватности”, “мифа об правдивости” и “мифа об безыскусности” дневника. (Rosenwald 1988: 4). Тесно связанным с “мифом о приватности” оказывается и “миф о неадресованности” дневникового текста. Общим местом

является утверждение, что единственный его адресат – сам автор, который не хочет ни с кем делиться сокровенным. В этом смысле взрыв эксгибиционистских нарративных практик в пространстве Интернета может показаться каким-то странным и неожиданным поворотом в истории жанра.

Однако, уже в те же 80-е годы прошлого века утверждение о том, что “традиционный” дневник – это герметичное пространство автокоммуникации, было поставлено под сомнение, и активно начала обсуждаться проблема специфической адресованности дневникового текста. Эндрю Хассам (Hassam 1987) в своей статье, полемически отталкиваясь от концепции Жана Руссе (Jean Rousset), утверждавшей, что наряду с дневниками, обращенными к самому себе, есть подневные записки, предполагающее внешнего адресата: близкого знакомого, группу лиц, воображаемого читателя (в том случае, если автор рассчитывал на прижизненную или посмертную публикацию), выдвинул предположение, что в момент публикации дневника, его “легальным” адресатом становится любой читатель, получающий право относиться к этому

тексту как к литературе. О разных аспектах дневниковой адресованности, о существовании дневникового нарратива на границе частного и публичного писали, в частности, Роджер Кардинал (Cardinal 1990) и Филипп Лежен (Lejeune 2009) – один из классиков изучения теории и практик дневниковедения. Лежен особо обращает внимание на то, что акт адресации в дневнике являются способом саморефлексии и самопрограммирования: попыткой обратиться к себе будущему,

которого вы не знаете, кто будет кем-то другим, но которому вы, тем не менее, доверяете. Вы отдаете себя в руки незнакомца, которым станете. Нынешняя идентичность создающего этот дневниковый текст однажды станет частью непредсказуемой идентичности, которую она породит, и которая будет судить о ней. (Lejeune 2009: 324)

Лежен в процитированной статье *Перечитывая свой дневник (Relire son journal, 1998)*, как видим, связывает процесс самоадресации в дневнике с вопросом само-

идентификации, с проблемой становящейся идентичности автора текста.

Даже краткий и неполный обзор, сделанный выше, показывает, что проблема адресованности дневника очень многообразна и связана с большим кругом вопросов: издательскими практиками, этическими ограничениями, отношениями автора дневника с современниками и реальными и / или гипотетическими потомками, доверенными лицами и непредвиденными читателями и т.д.

В данной статье я не стремлюсь обсудить проблему адресованности дневника во всей ее сложности и многосторонности. Меня интересует не столько проблема реального адресата или читателя, сколько *внутренняя* адресованность дневника, те есть, то, как в дневниковом нарративе конструируется внутренний адресат, во многих случаях не названный и даже осознанно не подразумеваемый автором. Полезным понятием здесь может послужить лингвистический термин “косвенный адресат”, примененный Анной Зализняк к анализу дневников. Зализняк пишет о двойной адресованности дневника. По ее мнению, автор дневника является одновременно его

адресатом, но при этом потенциально имеется и второй, *косвенный* адресат, участник коммуникативной ситуации, к которому говорящий не обращается, но чье присутствие влияет на выбор формы и отчасти содержание высказывания, которое он делает (Зализняк 2010).

Я хотела бы сосредоточить внимание на некоторых способах создания, конструирования подобного косвенного адресата на материале анализа трех дневников обычных советских людей. Меня будет интересовать также вопрос о том, как конструкции, а точнее, непрерывное конструирование таких косвенных адресатов в процессе дневникового письма связано с поиском, построением, *разыгрыванием* собственной идентичности автора дневника, постоянно осуществляемом в потоке, в течении / е акта письма.

Называние авторов избранных мною дневников обыкновенными или незамечательными людьми не несет никакой негативной семантики – я убеждена в том, что каждая жизнь по-своему замечательна, каждый жизненный опыт уникален и достоин внимания, и потому исследователь выступает в данном случае непредвиденным адресатом

дневниковых текстов, внимательным слушателем, старающимся понять, как эти люди принимали участие “в изобретении истории” (Козлова 2005: 28). Но то, что авторы анализируемых мною текстов не были литераторами-профессионалами и / или публично значимыми, известными персонами, а были людьми, для которых “практика письма не является обязательной ни в профессиональной, ни в обыденной жизни” (Козлова *et al.* 1996: 13), безусловно важно. Такие авторы дневника пишут без расчета на публикацию и не имеют в виду имплицитного читателя, они не “творят”, а, как правило, пользуются существующими и находящимися в их распоряжении, доступными им дискурсивными практиками, прецедентными текстами и стилизованными шаблонами.

Предметом моего пристального анализа будут три дневника советского времени: токаря Николая Белоусова (1937–1939), школьницы Нины Луговской (1932–1939) и сельской учительницы Марии Германовой (1941–1942).

Это люди советского времени, в которых соблазнительно и увидеть знакомые типы советской/антисоветской субъек-

тивности¹. Однако, изучение адресованности их текстов, анализ тех *Ты*, *Вы* и *Мы*, которые конструируются в их дневниках, как мне кажется, позволяет усложнить наши представления об идентичности (*Я*) этих обычных людей советской эпохи.

2. Я и Ты в дневниковом тексте

Во всех трех дневниках, названных выше, можно найти те формы обращения к адресату, которые уже описаны в названных в предыдущем разделе исследованиях.

У дневников существуют реальные читатели, предвиденные и непредвиденные, как это описано типологией Жана Руссе (см. Hassam 435–436). Нина Луговская отмечает в дневнике, что симпатичный ей одноклассник показал свой дневник ее подруге Ирине, а чуть позже замечает: “Левка пишет в дневнике ‘Как все опротивело, какие все сволочи. Как бы не пришлось покончить с жизнью все счеты’

¹ Обзор концепций советской / постсоветской субъективности или субъектности см. Пинский 2018.

(Луговская 2010)² – из чего следует, что и ей удалось заглянуть в дневник приятеля. Реальный читатель дневника может быть не только доверенным лицом, другом, как в описанном выше случае, но и контролером, ментором; вторгающимся в интимный нарратив согладатаем. Дневник Нины Луговской просматривала мать, так как боялась найти там что-нибудь контрреволюционное. Дневник красноармейца Николая Белоусова читает его воинский начальник: “Командир Явиг, выйдя в уборную, заметил мой дневник и прочитал его. Мне было как-то неудобно. [...] Он мне дал ряд ценных указаний, как вести дневник” (Белоусов 2016: 84). Кроме ментор-контролеров, тех, кто читает дневник с позиции авторитетного голоса, реальными читателями могут стать и другие – непредвиденные, опасные адресаты: любопытствующие подруги и родственники, хулиганствующие одноклассники или – особенно в случае советских дневников – люди “из органов”. Нина Луговская несколько раз в дневнике высказывает опасения, что ее днев-

² Дневник Нины Луговской цитируется везде по электронной версии указанного в библиографии издания.

ник может попасть в руки “шпики” (что в конце концов и происходит, и записи дневника становятся основанием для приговора). О подобных ситуациях подробно пишет в книге о дневниках сталинского времени Йохен Хелльбек (Хелльбек 2017).

Но такие случаи публичности, реальной адресованности традиционного (доинтернетовского) дневника являются скорее исключением, чем правилом. Однако, как мы уже отмечали, практически любой дневник балансирует на границе приватности, закрытости и публичности. Дневник прячет сокровенное от чужих глаз, но одновременно он жаждет быть прочитанным в том смысле, что мысли и чувства, рассказы о событиях, записанные в дневнике, обращены к некоему Ты, к своего рода идеальному другу, который персонализируется в некую виртуальную личность, иногда именуемую “Дневник”, иногда называемую каким-то персональным именем воображаемого Другого (например, “милая Китти” в знаменитом *Дневнике Анны Франк*). Филипп Лежен, подробно рассматривая в статье *О, мой дневник! (О топ парьер!*, 2007) на примере французской дневниковой литературы та-

кие формы персонализированного обращения в дневниковых текстах, делает вывод, что они появляются в конце XVIII века и связаны с возникновением идеи саморефлексии и самоконтроля как мотива ведения дневника (Lejeune 2009: 93–101)³. Написанное с большой буквы название жанра в обращении *О, мой дневник!* становится антропонимом. И это не второе имя для Я, это именование *Другого*, того, кто может услышать и понять. Обращаясь к Дневнику, Нина Луговская пишет 16 марта 1936 года:

Дорогой мой друг! Давно я не разговаривала с тобой и не делилась горестями. Ты думаешь, это происходит от того, что мне очень весело и поэтому не хочется скучать с тобой. О нет. Я все также несчастна, как раньше, по-прежнему у меня нет никого. Понимаешь, никого, с кем я могла бы поговорить, никого, кроме тебя. Да, я знаю, ты удивлен и

³ Примеры подобных обращений в русских женских дневниках начала XIX века, а также анализ некоторых женских эпистолярных дневников этого времени см. Савкина 2007: 95–190.

спрашиваешь, почему же я тогда не обращалась к тебе раньше, если ты – единственный мой друг. [...] Причин было много, только не знаю, сочтешь ли ты их вполне уважительными. Ну да все равно, я привыкла говорить тебе все. (Луговская 2010)

Американский исследователь Стюарт Шерман, анализируя девичий дневник Фрэнсис (Фанни) Берни (Frances Bigneу, впоследствии известная английская писательница – И.С.) замечает, что она часто обращается к некоему господину или госпоже Никто (Nobody), который / ая “с первых страниц ее журнала выполняет двойную функцию, фигурируя и как подлинное отсутствие, и как необходимое, существенно важное доверенное лицо (лучший друг, конфидент), которого Берни идентифицирует с самим журналом” (Sherman 1996: 254).

То есть привычную формулировку “дневник ни к кому не обращается” стоит заменить более точной и корректной: “дневник обращается к Никому”, то есть он обращается к некоему отсутствующему и в то же время парадоксальным

образом присутствующему Ты, которое является квинтэссенцией самой потребности в адресате: это пустота, которая зияет на месте желанного и понимающего Ты, Другого.

3. Дневниковое МЫ: чужое слово и “группы признания” как адресат дневникового нарратива

Но адресованность в тексте существует и тогда, когда прямые обращения к названному каким-либо образом или подразумеваемому Ты повидимому отсутствуют, когда возникают более сложные, скрытые формы внутренней или косвенной адресации, которые я и хочу рассмотреть подробно в данной статье.

В дневниковых нарративах (и особенно в дневниках молодых людей) существует обращение к неким референтным группам, к сообществам, коллективам или более широким объединениям, связанным принадлежностью к общей культурной традиции. Это своего рода виртуальные Мы, экспертные группы, мнение которых или удостоверение в принадлежности к которым оказывается в данный момент времени для автора дневника значимо. Поль Рикер в своей книге *Путь признания* пишет

о том, что представление о себе, узнавание аспектов собственной идентичности зависит от представлений других о тебе или той группе, к которой другие тебя относят; коллективные репрезентации образуют символических посредников социальных связей. “Эти репрезентации как раз и символизируют идентичности, в которых завязываются социальные связи в ходе их установления”, (Рикер 2010: 133). Сидония Смит, говоря об автобиографических текстах, отмечает, что нарративное Я не является целостным и существующим до начала акта письма – оно все время находится в процессе становления, ситуативного “разыгрывания”, в котором большое значение имеет не только субъективное намерение и желание автора, но и воздействие существующих в данном социуме и культуре дискурсов идентичности (Smith 1998: 109). Эти дискурсы идентичности, значимые для “признания, удостоверения” (в терминах Рикера) Я, тесно связаны с выбранным адресатом текста, публикой:

Под публикой понимается сообщество людей, для которых главные дискурсы идентичности и правды имеют смысл.

Публика становится экспертом определенного сорта перформативности, который подчиняется относительно удобным критериям понятности (вразумительности). (Smith 1998: 110)

Ключ к ответу на вопрос о том, каким образом текст дневника осуществляет эту адресованность к группам или сообществам признания, можно, на мой взгляд, найти в теории внутренней диалогичности высказывания и концепции чужого слова М. Бахтина, который подчеркивает, что

высказывание с самого начала строится с учетом возможных ответных реакций, ради которых оно, в сущности, и создается. Роль других, для которых строится высказывание [...] исключительно велика. [...] Эти другие, для которых моя мысль впервые становится действительной мыслью (и лишь тем самым и для меня самого), не пассивные слушатели, а активные участники речевого общения. Говорящий с самого начала ждет от них ответа, ак-

тивного ответного понимания. Все высказывание строится как бы навстречу этому ответу. (Бахтин 1979: 275)

Обращенность к кому-то или адресованность, по мысли Бахтина, является существенным признаком высказывания. Адресат может быть конкретным или неопределенным, более или менее дифференцированным, но в любом случае то, “[к]ому адресовано высказывание, как говорящий (или пишущий) ощущает и представляет себе своих адресатов, какова сила их влияния на высказывание – от этого зависит и композиция и – в особенности – стиль высказывания” (Там же).

В случае дневникового высказывания, на наш взгляд, внутренний диалог с чужим словом осуществляется через его у / присвоение: автор дневника использует или имитирует значимый для него дискурс, тем самым ссылаясь на желаемую группу признания – тех, кто владеет этим, избранным дискурсом, эти чужим словом и стилем. Обозначение значимых для автора дневника *Мы*, референтных или экспертных групп признания с помощью воссоздания чужого слова, а, значит, и чужого го-

лоса, голоса гипотетического слушателя, потенциального носителя разделенной идентичности является одним из способов разыгрывания собственного Я через усвоение и присвоения чужого слова, а точнее другого социального и культурного языка, дискурса. Я постараюсь продемонстрировать вышесказанное через анализ трех избранных дневников.

4. Дневник токаря Белоусова

Николай Белоусов родился в 1913 году в крестьянской семье, в 9 лет осиротел, ухаживал за скотиной, окончил четыре класса сельской школы, переехал в Ленинград, где со временем стал токарем на заводе Большевик, параллельно учился на рабфаке, был призван в Красную армию. Именно к этому времени (1937–1939 гг.) относятся записи единственной сохранившейся тетради его дневника (Белоусов 2016: 7–8).

Рабочий и красноармеец Николай Белоусов в своем дневнике во многом похож на других людей сталинского времени, героев исследования Йохена Хелльбека, которые с помощью дневникового нарратива хотели присоединиться к советскому проекту по созда-

нию нового человека и прилагали для этого специальные усилия. Последние были направлены среди прочего на освоение практик культурности, которые включали в себя в первую очередь усвоение правильного языка – литературного и идеологически выдержанного (см. Козлова 2005: 212). В дневнике Белоусова видны такие попытки создать новую модерную советскую идентичность через использование доминантного советского дискурса. Ориентация на чужое, авторитетное слово в дневнике очевидна: записывать правильные мысли правильным языком (хотя и с бездной орфографических ошибок) – значит чувствовать себя одобренным, принадлежащим к коллективу новых людей, “советской молодежи”. Приведу лишь один пример из многочисленных записей такого рода:

Легко можно судить о подлости врагов, нам молодежи, получивших от отцов готовую счастливаю жизнь. Многие из нас не понимают это, что за угроза весела, над нашей страной. Да и сейчас не понимают, что может случиться завтра с нами. Газетный формат

не вмищяить, чтоб со-общить, как надвигаеься ужасная угроза, ни-нужная для нас это ми-ровая война. Мне и моим сверстникам придется пережить ее, это не строшить многих из нас, но это ко многому обя-зывает каждого. Надо не имея отдыха работать над сабои, минута ми-нувшая зря, ценно опло-титься в будущем. (Белоусов 2016: 99; запись от 05.03.1938)⁴

Но если говорить не о плакатном сообществе новых советских граждан, а о реальном коллективе товарищей, к которому автор дневника безусловно хотел бы принадлежать, то этот коллектив описывается иначе и другими словами.

⁴ Здесь цитируется аутентичная запись дневника Белоусова, размещенного на сайте проекта по сбору и публикации дневниковых текстов «Прожито» (см. <<https://prozhitto.org/>>, последнее посещение: 29.11.2019). В дальнейшем все цитаты из текста Белоусова будут сделаны по печатному изданию Дневника, в котором многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки исправлены в соответствии с действующими языковыми нормами, с указанием страницы цитаты в тексте статьи.

Весь день ходил и по-просту, и по делам. Утром с Антошей встре-тили праздник, выпили маленькую, поджарили яичницу. Я ходил искать вина, яиц, пива, чтобы до завтра, до демонстра-ции выпить и закусить [...]. (Белоусов 2016: 38; запись от 06.11.1937)

Утром немного выпили, и я поехал к Ивану Семеновичу, а с ним мы поехали к Иванову Мите, где я встретил Белоусова Кузьму, с ним мне при-шлось говорить мало. Выпили еще, незаметно прошел и вечер. Семе-ныч так напился пьяный, что сбежал от нас, хотя я и не меньше пил его. Мы с Шурой пошли искать девочек и нашли [...]. (Белоусов 2016: 38; за-пись от 08.11.1937)

Утром пили я, Антоша, Ваня, Петя Игорев, его братишка и Ваня Васи-тенко, так что я даже пошел танцевать, не го-воря о песнях. После этого я поехал к Иванову Сергею, он еще не при-ходил с работы, но вот к нему приехал Иван Семенович и Гундоров Шу-

ра, я послал за поллитром, и мы втроем выпили [...]. (Белоусов 2016: 39; запись от 09.11.1937)

Мы процитированных отрывков совсем не “советская молодежь”, что можно видеть и в языке этих записей. Это нейтральный, бытовой язык с фиксацией деталей повседневности и большим количеством перечислений. Называние участников событий по именам, списки наименований напоминают перечисления адресатов в начале крестьянских писем, что является выражением семейной, родовой солидарности, обозначением принадлежности к деревенской общине. Друзья по празднику⁵, мужчины-субутильники – иная “экспертная” группа, от которой автор дневника хочет получить признание, членами которой он хочет быть услышанным и одобренным. Это требует иных социальных практик и другого языка их описания.

Однако, признание со стороны значимых для автора дневника названных выше групп,

оказывается дефектным или неосуществленным, потому что одним из лейтмотивов дневниковых записей Белоусова является описание тоски, отчаяния, бессмысленно и быстро протекающей жизни. Таких “страданий молодого красноармейского Вертера” на страницах дневника не меньше, чем бодрой советской риторики:

Как вспомню и задумаюсь я, у меня нет, никого, письма получаю редко, даже нет того, кому я мог бы рассказать все свои чувства и переживания в жизни. О жизнь, как сложна для меня. (Белоусов 2016: 49; запись от 27.11.1937)

День минул, как-то мрачно, нет нечего в нем хорошего, на заводе было веселее, где так кипуче проходила моя жизнь. О жизнь, о молодость (Белоусов 2016: 57; запись от 14.12.1937)

О жизнь, я не знаю, есть ли и были ли люди, прожившие тебя хорошо. (Белоусов 2016: 64; запись от 30.12.1937)

⁵ Заметим, что речь идет о праздновании 20-ой годовщины Великой Октябрьской революции.

О грусть. Приди, человек, разгони ее, успокой меня. В душе тяжело, о жизнь, о горькая молодость! (Белоусов 2016: 76; запись от 18.01.1938)

Подобные мотивы были сомнительны для советской идеологии, где, как пишет Олег Хархордин, “образцовыми считались дневники А. Герцена или Ф. Дзержинского, но не Л. Толстого, ибо самокопание, слишком большая саморефлексия опасны для самовоспитания” (Хархордин 2002: 324).

К кому апеллирует Белоусов в этих “гамлетовских” стенаниях, какое ответное высказывание он здесь предполагает? Возможно, он вступает в мысленный диалог с обобщенным образом литературного классика. Надо отметить, что Белоусов посещает лекции Г. Гукковского и Н. Пунина в университете выходного дня, читает не только газету «Правда» и «Краткий курс истории СССР», но и А. Герцена, А. Грибоедова, А. Островского, А. Радищева, Р. Роллана. Именно культурная традиция дает ему адресата, он обращается словами героя романа к похожему, страдающим, скучающим и одиноким героям романов. Он присваивает чу-

жое слово литературной классики для того чтобы легитимировать те чувства, которые не находят признания и не могут найти одобрения у других значимых для него референтных групп.

Нарративная идентичность автора рассматриваемого дневника нестабильная, нецелостная, он обращается иногда одновременно к нескольким группам признания, как в следующей, например, записи:

Злоба на себя, на прекрасных товарищей весь день не покидала меня. Видя это, они сильнее злят меня. Скука. отчаяние не покидает меня. [...]. Придя домой, занимался на партпросе. Наши жилищные условия все более улучшаются. Мы, молодежь, все это ценим недостаточно, не знаем, какова была царская казарма. Радостно улегся спать после так уставшего дня. А все же жизнь минует плохо. (Белоусов 2016: 112; запись от 01.04.1938)

“Прекрасные” товарищи, которые издеваются и умножают скуку, Мы-молодежь, существующая как эффект партийного просвещения, голос от-

чаяния и одиночества, неудовлетворенности собой и жизнью, который ищет слов для выражения, – все это существует одновременно и в определенном смысле все это эффект внутренней диалогичности, адресованности дневникового письма.

5. Дневник школьницы Нины Луговской

Дневник школьницы Нины Луговской был обнаружен в 2001 году сотрудниками общества Мемориал в следственном деле, хранящемся в Государственном архиве РФ. Нина Луговская (1918–1993) – младшая дочь бывшего левого эсера Сергея Рыбина-Луговского, с перерывами писала свои дневники на протяжении с 1932 до 1937 года, когда она вместе со всей семьей была арестована и осуждена по групповому делу “участников контрреволюционной эсеровской организации”. Отец был расстрелян, Нина, ее старшие сестры и мать были приговорены к пяти годам лагерей.

Дневник Нины – во многом типичный девичий дневник, где автор боится быть застигнутой за описанием самого сокровенного и одновременно жаждет быть услышанной. 28 октября 1936 она пишет:

Мое мнение, что дневник – ненужная и лишняя вещь, не дающая никакой пользы, а следовательно, вред. Развить слог дневник не может, потомству он не пригодится, так зачем же он. Но мне слишком приятно писать все, что есть на душе, кому-то рассказывать об этом. (Луговская 2010; курсив мой – И.С.).

Нина постоянно видит себя в зеркале чужого взгляда, упреждает слово и реакцию предполагаемого адресата. Среди наиболее авторитетных, желаемых и в то же время “опасных” адресатов часто называется или подразумевается отец.

Я похожа на ребенка, заблудившегося в большом незнакомом городе [...] Кто даст мне руку, кто поможет найти “дом” ребенку. Меня никто не понимает, мной никто не интересуется, меня не хотят учить жить. [...] Что же мне стыдно сказать, что я страдаю, мне стыдно открыть свою душу. Но кому я скажу? [...] Папа говорит, что

жизнь – борьба, что надо бороться, но как бороться, за что бороться, чего добиваться? (Луговская 2010)

С именем и образом отца связано представление об очень авторитетной и ответственной группе признания. Это люди, имеющие высокую цель жизни; борцы, готовые жертвовать собой ради идеи. Авторитетное слово таких идейных революционеров, как отец слышится в резких инвективах против Сталина, большевиков и порядков в стране, которые стали главным доказательством при обвинении Нины в контрреволюционных взглядах и терроризме.

[...] Несколько дней я подолгу мечтала, лежа в постели, о том, как я убью его. Его обещания – диктатора, мерзавца и сволочи, подлого грузина, калечащего Русь. Как? Великая Русь и великий русский народ всецело попали в руки какого-то подлеца. Возможно ли это, чтобы Русь, которая столько столетий боролась за свободу, которая наконец добилась ее, – эта Русь вдруг закабалила

себя? Я в бешенстве сжимала кулаки. Убить его как можно скорее! Отомстить за себя и за отца. (Луговская 2010; запись от 24.03.1932)

Правительство она называет “кучкой подлецов”, большевиков – “сволочами”, “ненавистными мерзавцами”. Впрочем, и оболваненным пропагандой студентам и школьникам, и врущим учителям, и бездумным сестрам, и пьяным советским рабочим на улицах, и русскому народу вообще достаются нелестные эпитеты. Конечно, такого рода записи обращены к отцу и таким, как он, здесь можно расслышать чужое слово, слово отца. Например, характерно, что советских властителей Нина последовательно называет большевиками (для эсера Рыбина партийная разница существенна). В записи от 30.01.1935 года она описывает директора школы тоже, как мне представляется, используя чужое слово, “шаблоны” из протестного языка отца и его единомышленников:

Лицо его, неприхотливо устроенное, грубое [...] было *типичным лицом рабочего, закаленного, видавшего виды и вы-*

бывшегося благодаря партийному билету, подлости и уменью без раздумья и усердия выполнять все приказания свыше. Было похоже, что раньше он вращался в исключительно грубой среде воров и, может быть, проституток, но уж никак не в школе. (Луговская 2010; мой курсив отмечает слова, которые никак не соотносятся с опытом и лексиконом школьницы)

Степень политической сознательности в Нининых разоблачениях власти не стоит преувеличивать: она может называть большевиков мерзавцами, потому что трудно учиться в школе: “Уроков, боже мой, как много уроков. Мерзавцы большевики! Они вовсе не думают о ребятах [...]” (Луговская 2010; запись от 28.09.1933). Но школа является не только объектом критики Нины-борца и достойной дочери своего отца. Школьное сообщество, к которому Нина относится неоднозначно, несомненно является другим адресатом, другим *Мы*, значимой референтной группой. Школьная жизнь описывается языком этого “адресата”, языком школьной повести. Фик-

сируется противостояние учеников (называемых часто школьными прозвищам: Нина Луговская в школе “Луга”) и учителей, именуемых “биологичка”, “немка”, “длинная и злая групповодша”, Дикобраз; соперничество подростковых группок, отношения мальчиков и девочек, флирты, записочки, дурацкие шутки, демонстративное нарушение правил (курение папирос как нечто “сногшибательное и смешное”), используется школьный сленг: *бузить, слабо, ноль внимания, фунт презрения, выкатились в коридор* и т.п. Вот типичный пример записи, ориентированной на понимание вышеназванным коллективным адресатом: “На пятый урок биологичка не пришла, и ребята, повскакав с мест, носились по классу, выбегали в коридор, поминутно кричали ‘шухер’, ржали заразительно и опять кричали” (Луговская 2010; запись от 10.9.1934).

Несмотря на то, что Нина часто относится к советской школе и одноклассникам критически и свысока, школьный коллектив все же значимое для нее *Мы*, частью которого ей важно себя ощущать:

В школе я забываю про себя – кругом люди, свои

люди, с которыми живешь одними интересами и мыслями, чувствуешь себя большой и сильной, чувствуешь, что в тебе живут все они, а в них – ты. Все за одного и один за всех. (Луговская 2010; запись от 4.09.1933)

с удовольствием рассматриваю педагогов и ребят, с удовольствием слушаю объяснения, так приятно чувствовать себя неотъемлемой частицей большого, сильного организма. (Луговская 2010; запись от 18.01.1934)

В отличие от Николая Белюсова, для Нины Луговской советская молодежь не является группой признания, и официальный советский дискурс редко проникает в ее дневник. Есть, впрочем, несколько исключений: во время ажиотажа вокруг возвращения челюскинцев 20 июня 1934 Нина пишет в дневнике:

Меня нестерпимо тянуло на Красную площадь, и, слушая радио, мне почему-то хотелось плакать от счастливого ощущения симпатии к великим героям [...] от желания принимать участие в

общем торжестве, влиться в сплоченную взволнованную массу, со всеми вместе кричать горячее “Ура!” и от невозможности этого. (Луговская 2010)

Однако, гораздо больше ее волнуют вопросы, связанные с гендерной идентичностью. Она очень много размышляет в дневнике о женственности и о том, что значит быть “нормальной”, “настоящей” женщиной. И здесь мы видим по крайней мере две коллективные репрезентации, на которые она проецирует собственное Я, два коллективных адресата. С одной стороны, это некое утонченное, аристократическое сообщество brutальных прекрасных мужчин и изящных, милых женщин, среди которых она хотела бы находиться. В записях, ориентированных на диалог с этим “высшим обществом”, используется язык дамской повести или любовного романа:

молодые трепещущие тополя, фонтан, жемчужом разлетающийся в бассейне, в котором так очаровательно отражались фонарики и парочки. Какой-то неведомой беспечной и заманчивой

жизнью веяло на меня из этого сада, когда я стояла в темной комнате и вдыхала теплый ночной воздух с опьяняющим ароматом душистого табака. (Луговская 2010; запись от 17.11.1932).

Ключевые слова этого дискурса: *вечеринка, флирт, изящная брошка, танцы, роуль, фокстрот, наряжаться, многочисленные зеркала, играть в лото, вести себя развязно, бегать и смеяться, играть в шарды и фанты, обниматься, принимать аристократические позы и т.п.* “Тянет меня эта веселая жизнь? Да, тянет определенно. Под звуки фокстрота и подобной музыки мне невольно рисуется картина с оживленной Молодежью, веселой, но не легкомысленной, и я мечтаю быть душой общества, только мечтаю” (Луговская 2010; запись от 01.11.1932). Но чем старше становится Нина, тем более проблематизируется такое понимание женственности и подобный “круг” как потенциальный адресат становится зачастую объектом иронии, хотя страдание из-за собственной “уродливости”, неспособности быть легкомысленной и победительной не перестает мучить. Однако, с

другой стороны, она видит в необходимости быть только милой, слабой, пассивной, зависимой, быть украшением и слугой мужчины – проклятие пола. Такие женщины (*пустенькие девочки, маленькие мотыльки*) обозначаются теперь обозначаются как *они* (хотя одновременно все время звучит желание и / или неизбежность превратить *их* в *нас*).

Для женщины важна наружность, все они до пошлости одинаковые в своем желании нравиться, любить и быть любимой. Это нельзя осуждать, потому что это естественно. Я подобных вещей делать не могу. (Луговская 2010; запись от 06.04.1935)

Есть желание нравиться, флиртовать, веселиться, быть женственной и интересной [...]. А наряду с этим есть и стремление учиться, есть строгие и упорные мысли о будущем, о цели в жизни, есть резкий и здравый ум. [...] Первым делом я презираю себя как женщину, как представителя этой униженной части человеческой расы, но это изменить нельзя.

Больше всего меня мучает моя компания, люди, с которыми я общаюсь. [...] Ах, женщины, женщины! Как вы односторонни и легкомысленны! (Луговская 2010; запись от об.п.1936)

Практически на протяжении всего дневника мы наблюдаем попытки освободиться от рабской зависимости от пола, создать для себя иное, свободное, разумное, женское сообщество, похожее на наделенный всеми правами и привилегиями мужской коллектив, и обратиться к нему как к возможной группе признания. Вот одна из подобных записей:

Я должна доказать, что женщина не глупей мужчины, что она теперь тоже станет человеком, будет работать и будет творить. Я знаю, что думают мужчины, как высоко они ставят себя и как их оскорбляет, если женщина победит их в чем-то. И вот доказать им, что мы победим, что у нас головы не только мальчиками и тряпками забиты, хочется. Эх, если б мне попасть в другую компанию, в другую об-

становку, к серьезным, умным людям! (Луговская 2010; запись от 17.п.1935)

В “разыгрывании” своей женственности, в процессе поиска и создания своей (подвижной и противоречивой) гендерной идентичности у Нины Луговской есть несколько адресатов: по крайней мере две “группы признания”, к которым она обращается разным языком, как бы включая в обращение чужое слово возможного ответа со стороны традиционных, женственных женщин и свободных, новых женщин.

Вопрос о том, что значит быть женщиной и кому адресовать разговор о своем женском Я чрезвычайно важен и для третьей нашей героини – молодой сельской учительницы Марии Германовой.

6. Дневник учительницы Марии Германовой

Мария Яковлевна Германова (1922–1997) родилась в деревне Заовражье Сланцевского района Ленинградской области. В 1938–1940-х годах училась в Гдовском педагогическом училище, потом вернулась в деревню, там пережила оккупацию, работала учительни-

цей младших классов. Она начала вести дневниковые записи примерно с 1936 года и вела их до конца своих дней. В журнале «РУССКИЙ МИРЪ» опубликованы фрагменты дневника М.Я. Германовой, охватывающие период с 22 июня 1941 года по 14 января 1942 (Николаев 2010: 251). В Дневнике Германовой очевидно присутствие адресата, иногда прямо грамматически обозначенного:

Вот, как видите, сколько свадеб, а ни на одну не приглашена. [...] На этих нескольких страницах я записала все свои мысли, страдания [...]. Конечно, красок тут нет, ничто не подкрашено, все, как было. Записано, правда, немного суше, за что простите: я не поэт – писатель. (Германова 2010: 260; курсив мой – И.С.)

Но вопрос состоит в том, кто является надежным адресатом в ситуации полной неопределенности и дезориентированности, когда неясно, придется ли жить под немцами или вернутся советские войска и советские порядки, когда девятнадцатилетняя девушка остается одна, без семьи (мать

с другими детьми пыталась эвакуироваться и лишь через какое-то время вернулась в деревню).

В этой ситуации, как видно из текста Германовой, неожиданно актуализируется родовая, общинная связь. На страницах дневника появляется обращение к матери в жанре причитания, “письменно сымпровизированного ею на основе традиции” (Николаев 2010: 254):

Эх, матушка родная, зачем меня одну оставила?! Уж хоть умирали бы, но вместе! Если жива ты, не узнать мне, умерла – так же. И ты не знаешь, как будет жить, как коротать горюшко твоя милая доченька. С кем может она поделить горюшко (а счастья-то уж и не будет), к кому преклонит она свою буйную головушку, кому откроет свое бедное сердечко?? (Германова 2010: 262; запись от 20.8.1941)

Идея советского коллектива (колхоза) исчезает, акцентируется представление о своих как односельчанах, родственниках, близких, соседях: то, что происходит в других – “заграничных” деревнях (оживает

семантика названий За-овражье, Засторонье) воспринимается как чужое, стороннее, а значит, не столь существенное.

Сожгли дом Кости Евстафьева, Нюшки Сидоровой и Мишки Вихрова. Кольку Сидорова и Кольку Костиного повесили. Костю с женой и невесткой закрыли в хлев [...], три раза выстрелили и зажгли. [...] Но все это вокруг нас, а мы на себе не чувствуем, Боже, не дай и почувствовать. У нас еще в четверг и в пятницу были супрядки. По их нравам и обычаям очень хорошие (я уверена – ни у кого веселости столько не будет), но с точки зрения “нашего ученого круга” – скучновато, минутами неловко [...]. Вот так и живу теперь. За каждый день писать не всегда охота, да притом и нечего особого, а в общих чертах не интересно. (Германова 2010: 266; запись от 26.10.1941)

С перечислением чужих горестей соседствует описание своих праздников. Несмотря на жуткие события, описыва-

емые в первых строках, заканчивается запись утверждением, что (у нас) ничего важного для записывания не происходит.

Но самым главным адресатом, “своими”, группой, от которой автор дневника ждет признания и одобрения, является упомянутый в этой записи “свой круг”. Закончившая педагогическое училище в Гдове Мария чувствует себя и некоторых своих подружек людьми другого культурного уровня и предназначения, чем простые деревенские бабы. Она называет себя и товарок “наша четверка” (Германова 2010: 269), “наш ученый круг” (Германова 2010: 266), “свои” (Германова 2010: 270, 273), “из одной воспитавшей нас среды педколлектива” (Германова 2010: 270), “своя учительская среда” (Германова 2010: 273). Принадлежность к этому Мы она настойчиво подчеркивает, этому Мы адресует свой рассказ, от него ждет признания и понимания. Наши, свои выглядят по другому, одеты не по-деревенски, ходят с часами на руке (часы неоднократно упоминаются в тексте дневника как своего рода маркер культурности). “Одевши новую белую вышитую кофту, шерстяную юбку, туфли, одев на руку часы, в шапочке, осеннем пальто от-

правилась к Клавке. [...] Из нашей учительской среды – я, Шура Соловьева и Клавка; все с часами – красиво смотреть” (Германова 2010: 269; запись от 11.11.1941).

Наши и ведут себя иначе, чем “дикие” простые деревенские парни и девки.

И я мысленно сравниваю этот праздник у Клавки и праздник у Анички – большая разница. [...] Все-таки у нее были все свои, из одной воспитавшей нас среды педколлектива, а тут сброд (Германова 2010: 270; запись от 11.11.1941)

Пришли Коля Шаляпа и девчонки. [...] Коля очень пьян, уснул на лавке; [...]. Облевавшись. Фу, сволочи пьяные. Вечером, проводив Л. А. до дому, идем в Новоселье гулять. [...] Мы, учителя, – все вместе. Ведь нас восемь человек. Четверо с часами. Мы так все кучкой и держимся. [...]. Фокстроты танцуем мы, учителя, а общие – сидим. Нас обдирают, да и еще больше за часы. Обидно, да ладно. (Германова 2010: 273; запись от 21.11.1941)

Это культурное сообщество молодых воспитанных женщин с часами, за которые их высмеивают (обдирают), и есть самый важный адресат дневника. Свою собственную идентичность Германова конструирует в нарративе в качестве представительницы культурных новых женщин, чья судьба должна быть совсем иной, чем доля их матерей, которые знали только тяжелую крестьянскую работу и бесконечные заботы о муже и детях.

Такое понимание *Мы-группы*, в которое она себя включает, создает сложную рамку в отношении к оккупантам. Немцы, которые приходят в их село, ведут себя культурно, они тоже люди “при часах”:

В четверг [немцы – И.С.] поехали обратно, и опять к нам заходили, но уже самый главный начальник – новый (вчерашний познакомил). Старые друзья. Но это наружное отношение. Я с ним чуждила много, показала свои фото. [...] Я взяла его часы, да, черт, отнял. [...] По их просьбе играю на гитаре и пою. Немцев опять целая изба. Из деревни от кого-то табаку

и папирос нанесли. (Германова 2010: 265; запись от 23.10.1941)

Немцы играют с девушками в шашки, танцуют вальс, флиртуют (см. Германова 2010: 271). И главный аргумент против гитлеровцев в опубликованной части дневника состоит в том, что они не выдерживают соответствия важному для автора дневника критерию культуры:

Вспомнили и о Дубке. Люди сгорели до того, что черепов нет, даже спины прогорели. [...] Я вяжу, а саму злость разбирает, насколько людям нельзя сейчас верить, как дик человек, хотя бы и тот немец. Культурная страна, любящая даже собак, как может пить чужую кровь, не смутившись! И не дрогнет рука убить, повесить, сжечь заживо человека, который не принес тебе ни на грош вреда... Да. (Германова 2010: 268; запись от 30.10.1941)

Важно и то, что гитлеровцы не одобряют и не признают ценность идентичности новой, свободной культурной женщины, обретенной Марией

ценой серьезных усилий, и хотят вернуть ее и ей подобных к состоянию деревенской бабы: матери и семейной рабы.

Строим планы жизни под властью немцев, но в них ничего отрадного. Да, вот дожили – учились, а для чего? Возиться у печки, купаться вечно в говне и грязи деревенской жизни? Но иного выхода нет. Куда идти бывшей советской девушке? Все двери перед нею закрыты. [...] беженка говорит о том, что советский ни один педагог работать при власти немцев (по их будто бы словам) не будет. Вот тебе и на! (Германова 2010: 267; запись от 30.10.1941)

Реагируя на немецкие контрпропагандистские листовки, которые критикуют советский феминизм за то, что отнял у женщин семью и заставил ее трудиться наравне с мужчиной, Германова замечает:

Вот вам, советские девушки. Вы теперь не потеряете способность стать матерью, будете годны рожать по 10–15 ребятишек, вечно знать печку, хозяйство, грязь,

говно, пьяного, грязного, некультурного мужика-мужа. [...] Вот стремились вы учиться, выйти в свет культурными, образованными девушками! Вот ваша культура; вас освободили от нее – она вам запрещена!! Эх, боже мой, какая наглость, какая ложь! Вот, Мария Яковлевна, мечтала быть культурной, быть настоящей Советской учительницей, подлинно народной! Молодец, добилась! А не хочешь ли ухват в руки да к печке, а потом в грязи с ребятами купаться, как мамаша твоя! (Германова 2010: 276–277; записи от 28.11.1941–01.12.1941)

В этой записи, как и в ряде других, адресация к той группе признания, о которой шла речь выше, персонифицируется в самообращение. Причем, себя она называет как бы от лица учеников, школьников – не Манькой или Машей, а Марией Яковлевной.

Но кроме родового деревенского *Мы*, и *Мы* “нашего культурного круга”, для Германовой никогда полностью не исчезает и адресат, который говорит на языке доминантного дискурса, – недаром ее иде-

альное *Я* называется “настоящая советская учительница”. Даже пересказывая с некоторой долей симпатии антисоветские слухи и немецкие оккупационные газеты, критикующие советскую власть, Мария делает выводы, воспроизводящие штампы официальной пропаганды.

Да, во многом ошиблись наши Советские правители. Очень метко осмеивает их немецкая печать [...]. Все держалось на ружье; НКВД следил и на воде, в воздухе, на суше – не только за словами, но и за мыслями. Каждого подозревали, но никого не осматривали, поэтому на наших заводах, фабриках, секретных предприятиях работали умелые шпионы, занимаемые видные должности. Вот они-то и вели дела так, чтобы восстановить народ против этой власти. Они этого добились, так и получилось, что приходу немцев рады почти все поголовно. (Германова 2010: 268; запись от 30.10.1941)

То и дело на страницах дневника появляются обращения к товарищам и красным милым

воинам. А когда она находит измятую советскую газету «Ленинские искры», то вступает в диалог с тем (со)обществом, которое газета репрезентирует, фактически переходя на язык этой газеты, в своей речи имитируя доминантный идеологический дискурс:

[...] Вот они, дорогие товарищи! Вот они, верные сыны Великой родины, смелые, отважные, грудью идут на врага! [...] Нет, я не верю в поражение! Россия будет свободна! Победа будет за нею! Нет, нет, я надеюсь – враг будет изгнан. Не такая партия руководит нашей страной, чтоб ее побеждать! (Германова 2010: 279; запись от 03.12.1941)

Германова и хочет создать себе алиби перед адресатом-цензором и контролером, и искренне усваивает чужое слово, так как ждет от этого адресата признания и одобрения.

Таким образом можно видеть, что в трудной ситуации дезориентированности и неопределенности Мария Германова пытается конструировать свою нарративную идентичность

путем адресации, обращенности к разным *Мы*, к разным группам, (воображаемое) одобрение которых позволяет ей не потерять свое *Я*, каким бы противоречивым и ситуативно изменчивым это *Я* не оказывалось в процессе “записывания себя”.

7. Заключение

Проведенный выше анализ трех текстов обычных советских молодых людей, конечно, не дает оснований делать широкие и глубокие обобщения, но он, как мне кажется, со всей очевидностью подтверждает, что дневниковый нарратив всегда находится *на границе* приватного и публичного. Внутренняя адресованность дневника осуществляется в различных формах – например, через прямые обращения к некоему отсутствующему, но в то же время парадоксальным образом присутствующему *Ты*, которое является квинтэссенцией самой потребности в адресате. Но и в тех случаях, когда подобных прямых обращений нет, дневниковый текст насквозь пронизан потенциальной диалогичностью, внутренней адресованностью. Постоянный диалог с *Другим*, с чужим сло-

вом осуществляется через его у / присвоение: автор дневника использует или имитирует важный для него дискурс, тем самым ссылаясь на желаемую группу признания. Обозначение значимых для автора дневника *Мы*, референтных или экспертных групп признания с помощью воссоздания чужого слова, а, значит, и чужого голоса, голоса гипотетического слушателя, потенциального носителя разделенной идентичности является одним из способов поиска, сотворения, “разыгрывания” собственного *Я*. Исследование описанных выше форм внутренней дневниковой адресованности может быть ключом к пониманию становящейся идентичности автора текста. В частности, анализ избранных

нами дневников показывает, насколько противоречивым и нецельным было *Я* обыкновенного человека советского времени.

Если же возвратиться к той современной ситуации, с упоминания о которой начиналась эта статья, то можно отметить, что интернет-дневники, Живые Журналы, блоги и т.п. сделали потенциальную внутреннюю адресованность дневника реальной практикой подневных записей, доступных адресату; внутренний диалог превратился в открытый разговор с разными группами “предвиденных” френдов и опасных дислайкеров.

Библиография

Бахтин 1979: М. Бахтин, *Проблема речевых жанров* // М. Бахтин, *Эстетика словесного творчества*, Искусство, Москва, 1979, с. 237–280.

Белоусов 2016: Н. Белоусов, *Дневник токаря Белоусова (1937–1939 гг.)*, Common place, Москва, 2016.

Германова 2010: М. Германова, *Фрагменты дневника (22 июня 1941 г.–14 января 1942 г.)*, «Русский мир», 2010, 4, с. 258–285.

Зализняк 2010: А. Зализняк, *Дневник: к определению жанра*, «Новое литературное обозрение», 2010, 106, с. 162–180.

Козлова 2005: Н. Козлова, *Советские люди. Сцены из истории*, Европа, Москва, 2005.

Козлова *et al.* 1996: Н. Козлова и И. Сандомирская, *Я так хочу назвать кино*, Гнозис, Москва, 1996.

Луговская 2010: Н. Луговская, *Хочу жить*. Дневник советской школьницы, РИПОЛ классик, Москва, 2010, <<https://nice-books.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/31894-ninalugovskaya-xochu-zhit-dnevnik-sovetskoi-shkolnicy.html>>, последнее посещение: 11.05.2019.

Николаев 2010: О. Николаев, *Дневник сельской учительницы времени немецкой оккупации*, «Русский мир», 2010, 4, с. 251–257.

Пинский 2018: А. Пинский, *Предисловие // После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985)*, под ред. А. Пинского, Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, 2018, с. 9–38.

Рикер 2010: П. Рикер, *Путь признания*. Три очерка, Российская политическая энциклопедия (РОСПЭН), Москва, 2010.

Савкина 2007: И. Савкина, *Разговоры с зеркалом и Зазеркальем*. Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века, Новое литературное обозрение, Москва, 2007.

Хелльбек 2017: Й. Хелльбек, *Революция от первого лица*. Дневники сталинской эпохи, Новое литературное обозрение, Москва, 2017.

Хорхордин 2002: О. Хорхордин, *Обличать и лицемерить*. Генеалогия российской личности, Европейский ун-т в Санкт-Петербурге-Летний сад, Санкт-Петербург-Москва, 2002.

Cardell 2014: K. Cardell, *Dear World*. Contemporary Uses of the Diary, University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 2014.

Cardinal 1990: R. Cardinal *Unlocking the Diary*, «Comparative Criticism», 1990, 12, pp.71–87.

Hassam 1987: A. Hassam, *Reading Other People's Diaries*, «University of Toronto Quarterly», LVI, 1987, 3, pp. 435–442.

Lejeune 2009: Ph. Lejeune, *On Diary*, ed. by Jeremy D. Popkin and Julie Rak, University of Hawaii Press, University of Hawaii at Manoa, 2009.

Rosenwald 1988: L. Rosenwald, *Alan Emerson and the Art of the Diary*, Oxford University Press, New York, 1988.

Sherman 1996: S. Sherman, *Telling Time*. Clocks, Diaries and English Diurnal Form, 1660–1785, The University of Chicago Press, Chicago-London, 1996.

Smith 1998: S. Smith, *Performativity, Autobiographical Practice, Resistance*, in *Women, Autobiography, Theory. A reader*, ed. by S. Smith and J. Watson University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1998, pp. 108–115.

